



ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА.  
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ



Русское интеллектуальное наследие

**«ЧЕЛОВЕК БЕЗ КАВЫЧЕК»  
И «ДЖЕНТЛЬМЕН С НАСМЕШЛИВОЙ ФИЗИОНОМИЕЙ»  
В «ХРУСТАЛЬНОМ ДВОРЦЕ»**

(о неопубликованной книге А.А. Борового «Достоевский»)

Часть II

*П.В. РЯБОВ*

Через всю книгу А.А. Борового проходит тема Жизни. Достоевский – философ Жизни, которая у него раскрывается во всем динамизме, спонтанности и величии: «Необъятный, насквозь противоречивый, исходивший до конца чужие пути и не нашедший концов своему, все знающий, изведавший небывалый до него размах страстей, вместил он в себя – последнее освобождение и все ступени достижений: храм и торжище, идеал Мадонны и идеал Содомский, жажду благообразия и жажду всечеловечества и подполья, братство и остроту крика исключительности»<sup>1</sup>. Выразителем жизненной энергии и правды, противостоящим схемам интеллектуалов, для Достоевского и Борового был народ в непосредственности своего существования.

«Жизненная система не может не быть “алогичной”, в этом формальном, схоластическом смысле, не может не включать в себя противоречий... Отвлеченный, не конкретный, не диалектический “логизм” – вне окружающей нас реальности. Он – изобретение, практическая выдумка. Он есть – попытка, путем насилия над реальностью и динамизмом, приспособиться к хаосу, противоречиям, т.е. жизни. В противоречиях – свобода и творчество, в логизме – рабство и смерть»<sup>2</sup>. Вслед за Бакуниным, Бергсоном, Сорелем, Достоевским и до Адорно, Хоркхаймера и Фуко, Боровой настойчиво указывал на угрозу экспансии «репрессивной рациональности», говоря о разуме рационалистов: «Этот величайший, по утверждению рационалистов – революционер, взрывающий традиции, догмы, авторитеты, кончает тем, что открывает дорогу [новым – зачеркнуто] сам – авторитетам, теориям и формулам, на этот раз, якобы, неопровержимым. На место старых [вырванных – зачеркнуто] догм растут новые, [уже – зачеркнуто] с момента рождения коченеющие, догмы, ограничивающие свободу и действие. И так как система научных истин есть, прежде всего, система замкнутых в себе, детерминистических рядов – в

этом кроется ее глубоко консервативный, реакционный характер, ее своеобразный нравственный фатализм»<sup>3</sup>.

Боровой утверждал органичность для мира Достоевского диалогизма. 10 сентября 1929 г. он записал: «Достоевский — океан идей, турнир идей, непрекращающийся бешеный диалог. И каждая идея имеет глубокого, блестящего выразителя... Она исследуется до дна в различных вариантах, в самой сложной и психологической диалектике»<sup>4</sup>. О многоголосице книг Достоевского он писал много и ярко, вслед за М.М. Бахтиным<sup>5</sup>. Эта многоголосица вызывает у него ряд вопросов: «1). Что являет собой полифония — результат необычайной способности абстрагироваться от собственного мироощущения, результат разложения единого — противоречивого и сложного сознания на множественность других сознаний несогласных и неслиянных между собой? Или она — результат столь же необычайной способности вчувствования в другие сознания, чуждые авторскому сознанию, не входящие в него? 2). Как узнать подлинное “Я” Достоевского? Как выделить “Я” из полифонии “не-Я”?»<sup>6</sup> По его мнению, «нечеловеческая выносливость Достоевского сумела вобрать в себя диалектику жизни — всю, целиком... У Достоевского прежде всего — сверхчеловеческий диапазон мысли; он непомерно обилён мыслью. В узких пределах жизни он не мог не только исчерпать себя, но, быть может, не успел дать даже главного, что в нём таилось»<sup>7</sup>. Поэтому у писателя почти нет «совсем плохих» или «совсем хороших» героев, а его позиция отчетливее звучит в публицистике. Размышляя о мире Достоевского, одаренный музыкант Боровой писал: «Его симфония жизни отразила всю полноту и сложность современного ему сознания. Тембры контрастировали одни с другими, а Достоевский хотел добиться максимального звучания от каждого. Но чувствительность и страстность Достоевского, сообщавшие каждой теме, каждой партии предельно выпуклый характер, порождали иллюзию, что именно тот или другой голос есть подлинный или любимый голос автора»<sup>8</sup>.

Жизнь для писателя — иррациональный поток, созидающее разрушение: «Его беспримерный динамизм сливает стихии разрушения и творчества в один освобождающий синтез. Отрицая, он — любит, разрушая, он — строит»<sup>9</sup>. Боровой сближает Достоевского и Бергсона, отмечая присущие обоим приятие жизни, волюнтаризм, и интуитивизм: «Жизнь — иррациональна. Логика подменяет действительность понятием»<sup>10</sup>, поэтому: «Науке принадлежит ограниченная вспомогательная роль. Она — лишь одна из частных форм отношения человека к действительности. Ее знание — неполно и недостоверно. По своей методологической природе, она не должна претендовать на всестороннее и полное познание жизни, ибо она останавливается нередко там, где начинаются для человека самые непреложные, самые волнующие вопросы, независимо от их происхождения. Наука

механизирует и должна механизировать — в этом сущность научного познания — живой мир. И было бы напрасным это своеобразное упрощение реальной действительности с правом беспредельных и безошибочных предсказаний — полагать за самую жизнь. Достоевский мог бы согласиться с современным антиинтеллектуализмом [т.е. с Бергсоном. — П. Р.], что природа разума характеризуется “непониманием” жизни... Сам разум, его опыт, его система вскрывают и утверждают собственную недостаточность»<sup>11</sup>. «Но если разум бессильно бьется перед изначальностью мирового зла, то жизнь — сама своим вечным биением, возрождением, своими новыми всходами оправдывает зло и смерть... Жизнь оправдывается в непосредственном чувстве к ней, в жажде, способности, умении проникнуть все поры мироздания и растворить его в себе. Тогда мы чувствуем жизнь как свободную струю вселенского бега, в котором нет пробелов, противоречий, зла, страданий... Жизнь есть непрерывный динамизм, активизм, творчество»<sup>12</sup>.

О творческой лаборатории Достоевского Боровой восторженно писал: «Это — образец непосредственного, не отрывающегося от жизни — познания. Это — наблюдения и мышление реалиста. Смерть формулам и схемам, как бы ни были совершенны их логические и моральные источники, и да здравствует жизнь!»<sup>13</sup> В творчестве писателя кульминацией протеста против попыток растворить живое и личное в анонимном и общем был для Борового образ «джентльмена с насмешливой физиономией»: «И в духовном наследии Достоевского насмешливый джентльмен есть самое большое психологическое и подлинно “анархическое” изобретение его, а рассуждение его, что “дважды два четыре” есть уже не жизнь, а начало смерти и что “дважды два пять премилая иногда вещица” — есть значительнейшее из всех его философских “гносеологических” утверждений»<sup>14</sup>. 16 января 1931 г. Боровой в одном из писем из Вятки ясно сформулировал свое экзистенциальное мироощущение: «Только с устройением кухни явится спрос на человека, универсального человека, живущего всей полнотой своего “Я”... Профессионализм вообще будет не нужен... Ибо человек во всей полноте его бытия есть единственная беспорная реальность всех мыслимых и возможных человеческих исторических процессов». Трагедия человека состоит в жажде жизни и неизбежности смерти: «1. Его вечная (в пределах человеческого) незавершенность, отсутствие примирительных формул, борьба с живыми антиномиями, слагающаяся на фоне нашей биологической данности, неизбежности трагического дуализма нашей природы: неограниченности интеллектуально-волевого заряда и принципиальной ограниченности человеческого бытия — смерти... 2. Неизжитие (в тех же рамках) принципиальных антагонизмов личного с социальным. Один в другом до конца неразстворимы»<sup>15</sup>.

«Так философия жизни, искусство жизни — есть учение о муке непрекращающихся исканий»<sup>16</sup>. Как без сомнения нет веры, без страдания нет личности<sup>17</sup>: «Страдание для Достоевского — совершенно в духе шопенгауэровского пессимизма — есть субстанциональный признак жизни... Страдание — единственный источник нравственного пробуждения»<sup>18</sup>. Цель — «не в счастье, а в его достижении», в осознании трагизма бытия и, по-пушкински мудро, его приятии как дара. «Достоевский, принимая путь Пушкина за путь истины, за путь единственный для выхода из тупиков отчаяния, нашел свою утешающую формулу — в принятии жизни, утверждении личности, приобщении ее к правде народа. Пусть страдания, пусть скорбы! Но все же, все же над всеми страданиями и скорбью — торжествует зов непобедимой жизни»<sup>19</sup>.

Для Достоевского Жизнь — мир человека, а не природы: «Мир вещей — только фон для восприятий, чувств, мыслей, жестов человека... Человек и его тайны — заслонили мир»<sup>20</sup>. Достоевский — гениальный знаток Человека: «Никто глубже и полнее его не проник человека. Все струны человеческой души звенели в его творчестве»<sup>21</sup>. Человек понимался писателем как существо своевольное, иррациональное, трагически устремленное к смерти, непроницаемое до конца в своем душевном подполье: «Ни у кого, никогда, не исключая самого Шекспира, не вставал с такой жуткой силой — человек. Не плод исторической эпохи, не раб сильнейших обстоятельств, не человек расы, племени, не человек профессии, но человек — во всем неизмеримом смысле этого слова... Человек — узел, кто знает, кем завязанный? Богом ли, жизнью, судьбой, своей капризной глупой волей, но — узел нераспутанных, неисследимых чувств, неуловимых стремлений, клубок противоречий, разверстый, живой, но сочащийся кровью, неотразимо обаятельный и неотразимо гнусный, а в целом, неотразимо страшный человек»<sup>22</sup>. Все творчество Достоевского, подчеркивал Боровой, есть пламенный апофеоз личности: «Она всегда цель, никогда — средство», ярким доказательством чего «от противного» анархист считал крах Раскольников<sup>23</sup>. «Только личность, только человек — для Достоевского [есть — зачеркнуто] — подлинная самоочевидная реальность. Только она имеет самостоятельное нравственное бытие, не выводимое полностью из порядка общественных взаимоотношений. Значение и ценность общественного союза могут быть определяемы [только — зачеркнуто] через значение и ценность образующих его членов. И потому Достоевский категорически протестует против гипостазирования исторических преходящих форм общественного процесса в самостоятельные сущности»<sup>24</sup>. «Этический индивидуализм и максимализм Достоевского были непримиримы к исторической обусловленности и относительности “социалистического” материализма, релятивизму классовых идеалов»<sup>25</sup>.

Говоря о полемике Достоевского против социализма XIX в., Боровой имел мужество заявить, что в этом споре он почти всецело — на стороне Достоевского, поскольку «для тогдашнего социализма и социалистов» основами мировоззрения были «культ “разума” и материалистическая философия, детерминизм и атеизм, утилитаризм»<sup>26</sup>. Впрочем, следует важное уточнение: «Объектом критики Достоевского был уже частично устаревший “нигилист” с рационалистической философией истории и “эгоистической” моралью... бунтари 70-х гг. с их идеализмом, критикой утилитаризма, моральным максимализмом, даже “религиозной” настроенностью — не нашли в творчестве Достоевского философского отображения равнозначущей силы, как их исторические предшественники»<sup>27</sup>. Сам Боровой знал о революционных народниках не только из книг: он был знаком со знавшими Бакунина А.В. Гольштейн и М.П. Сажиним, дружил с В.Н. Фигнер, общался с П.А. Кропоткиным, а в Вятке (в годы работы над «Достоевским») подружился с Н.А. Чарушиным. При помощи Достоевского Боровой начал самокритику социалистической мысли, чтобы выработать анархическое мировоззрение, более созвучное катастрофическому духу XX в., пророчески предсказанному писателем.

«Основной порок социалистического мировоззрения — проникающий его рационализм»<sup>28</sup> — подмена жизни схемами, насилие массы над личностью, искусственность и принудительность. Философ так излагает содержание «Сна смешного человека»: «Итак, “рассудок” и “наука” недостаточны для завоевания жизни, истины, радости, недостаточны, чтобы вычеркнуть зло, недостаточны, чтобы утвердить добро»<sup>29</sup>. Боровой писал о Достоевском: «Его представление о человеке, об индивидуальности было антиподом “естественного” человека рационализма — человека-фикции, без плоти и крови, среднего абстрактного человека», в котором «не оставалось места для живой, конкретной, оригинальной личности»<sup>30</sup>. В марксизме этот фаталистический взгляд на человека усилился, позволяя «класть социализму на свои социалистические счета личность, лишенную всяких “видовых отличий”, признавать личность за социологическое “ничто”, поскольку она становилась безличностью. И по мере того, как крепла социалистическая доктрина, она все более проникалась буржуазно-рационалистическим оптимизмом, все более крепла в ней вера в победное шествие человека к высшей окончательной гармонии силами, имманентными самому процессу общественного развития вне прямого личного телеологического актуализма»<sup>31</sup>. Это увлекло за собой «научно обоснованную» пассивность личности: «Детерминизм, механицизм — для Достоевского вычеркивали из человеческой жизни — телеологию, свободу, следовательно, самого человека... Достоевский столько отдал в своем учении человеку, его “праву”, его “своеволию”,

что уравнение его с безгласным винтиком машины не могло быть принято его нравственным сознанием»<sup>32</sup>.

Вслед за писателем, Боровой протестовал против «религии прогресса», не желавшей видеть живого человека. Не может быть конца исканиям человеком истины, не может быть рая на земле: «Какой же безграничной наивностью должно казаться нам ожидание столь многих, что в каком-то тридевятом царстве, тридесятном государстве — наступит, наконец, всеобщее довольство: сомнения будут разрешены, с враждой покончено, люди друг друга обнимут и поймут до конца и пределов не будет ликованию. Трагическое окажется навсегда вычеркнуто из жизни... Но разве может покончиться человеческое “дело” таким удовлетворением? В решении ли хозяйственно-санитарных вопросов решение и всех человеческих загадок?.. Если мятущийся дух, его падения и взлеты, его творческое самоосвобождение — есть подлинный смысл человеческого существования, его оправдание, то “оптимистическая философия” как раз покушается на этот смысл, хочет подсесть крылья творческого духа, изъять из человеческой природы все вопрошающее, все героическое, заменив их бесстрастной сытостью по правилам “веселой науки”. И *такая* философия назвала себя “оптимистической”? Можно ли придумать, по существу, более грубую пародию на оптимизм? Свести искания к научному благоустройству кухни?.. Никогда ни одна философия с такой безбрежной наивностью не убирала из философии — самого философа, человека. Никогда еще ирония науки не была так беспощадно направлена против нее самой»<sup>33</sup>. «И кто, на основании каких расчетов, может сказать, что исчезнет когда-нибудь “своя глупая воля”, или уж совпадет до конца, до полного примирения, до полной гармонии с чужой “глупой волей”. Нет, “свою глупую волю” — ни человеческое сознание, ни человеческое чувство не уступят и не примирятся с его гибелью... Нет ценностей, пред которыми замер бы в бессилии благоговения творец. Нет такого совершенства учреждений, хотя бы и воздвигнутых по всем правилам рационалистической мудрости, которые не были бы лишь этапом в вечно бунтующей стихии человеческого духа. Нет пользы, нет такого практичного, меркантильного, исторического, земного устройства, которое могло бы примирить с собой навсегда, до конца, непостоянного, жадного, нерасчетливого до святости человека... И навсегда поэтому надо отказаться от наивной и соблазнительной мечты построить здесь на земле Царствие Божие. Оно было бы смертью человека, такого, каким мы его знаем, каким любим, о каком ревнуем в будущем»<sup>34</sup>.

Вот «кьеркегоровское» понимание истины Боровым, рассматривавшим анархизм не как финалистскую утопию, а как личное мировоззрение и направление движения: «И никогда, ни в какие сроки, ни в отдаленнейших наших поколениях, не получить нам полностью, це-

ликом той синтетической истины, стремление к которой, в конечном счете, обуславливает всю нашу творческую деятельность. Аспекты истины — личны, индивидуальны, рождаются в моменты внутренних откровений, их не замкнуть в логически отточенные формулы. Пусть объективно, научно, закономерно, они — недоказуемы, субъективно — они достоверны. Открытая, ставшая общеобязательной “истина” — довлеет, регулирует, ограничивает свободу следующих поколений, приглашает к спокойствию, с которым менее всего мирится природа Достоевского»<sup>35</sup>. И: «В творческом плане только и имеет теоретический и практический смысл — раскрытие во всей полноте “своего” ощущения мира, “своей” субъективной правды. Возведение же карточных домиков по всем правилам формальной логики, стремление, во что бы то ни стало, из субъективных правд слепить некоторую общеобязательную “объективную истину” — значит, сочинять эклектическую кашу, накоплять схоластический мусор»<sup>36</sup>. В эпоху засилия «Правды» (в кавычках и с большой буквы) Боровой имел свое мнение о правде: «Прежде всего — всякая человеческая правда и, следовательно, социально политическая правда, находится всегда в процессе — развития. Правда перестает быть таковой, как только она становится “относящейся идеей”, общим местом, постоянным, привычным спутником жизни. Против всякой кристаллизовавшейся, остановившейся правды человек немедленно открывает бунт... Но... когда старая правда умирает — мы ищем новую правду»<sup>37</sup>.

Боровой полагал, что «Легенда о Великом Инквизиторе»: «...самое глубокое, самое значительное и самое убеждающее, что было сказано когда-либо о формах социально политического устройства человечества. Свобода, вечное томление, творчество, с одной стороны. Рабство, умиротворение, механическое следование чужой указке, с другой. И все, кому дано мечтать, размышлять о судьбах человечества, кому дано практически вершить их, все приходят к этому распытию. Меч или мир? Власть или безвластие? Вся историческая жизнь человечества — в этом столкновении стихий, в этом неизбежном духовном поединке. Решение Достоевского — известно: боль, неуспокоенность, проклятие цивилизации и умозрениям, пытающимся сытостью и хрустальными дворцами купить человеческую свободу»<sup>38</sup>.

В эпоху построения «хрустального дворца» и всеобщего официального ликования по этому поводу, Боровой защищал право человека на страдание и восставал против иллюзий о «конце истории», даже если бы это был «счастливый конец»<sup>39</sup>. В эпоху торжества партийной однозначности, черно-белого видения мира и идеологического диктата Боровой в книге о Достоевском выступил в защиту глубины и сложности человеческого, против любых однозначных ярлыков и формул. «Только ломающие революционные эпохи в пароксизме творчества выбрасывают ненужные по времени рефлексии и кон-

центрируют внимание и волю на относительно элементарных — в смысле психологическом — разрушительно-устроительных задачах. Гипноз таких эпох устраняет индивидуалистический “психологизм” и освобождает человека от тяжкого “пессимистического” груза. **Барбан глушит противоречия.** Но... осмотревшись в новом завоеванном хозяйстве, человек естественно возвращается к проблемам, не снимаемым социологией — рождению, полу, смерти»<sup>40</sup>. (Это напоминает размышления Э. Фромма о вечных экзистенциальных антиномиях человека.) В эпоху триумфа «научного» коммунизма он напомнил о пределах науки и невозможности для нее объять и определять жизнь: «Была подорвана вера в силу всеустрояющего человеческого “разума”, в целебную силу прогресса знаний, в параллелизм успехов разума и нравственности. Были сделаны веские возражения против рационалистических утверждений о единстве и непрерывности исторического прогресса... Так камень за камнем складывалось новое миропонимание, долженствовавшее освободить реального, конкретного человека... Итак — нет алтарей, достойных человеческой жертвы, нет кумиров, способных оправдать такую жертву... Смысл жизни в самой жизни»<sup>41</sup>, а каждая личность и каждая эпоха имеет самостоятельное и абсолютное значение.

Обращаясь к бунтарю Достоевскому<sup>42</sup>, анархист стремился очистить освобождающий дух революции от нечаевского вырождения: «Если в рядах пламенных революционеров мистификаторские методы и диктаторские замашки Нечаева встретили единодушное осуждение, чем могли они быть для Достоевского, как не “бесовским” вихрем, наваждением?»<sup>43</sup> Он писал: «Всякое великое историческое событие, всякое образование нового “качества”, следовательно, и революция, имеет свою смердяковщину... Консолидация же [любого — зачеркнуто] исторического взрыва, оформление его, приспособление к конкретным нуждам, благонамеренное истолкование [его — зачеркнуто] являются преимущественными рассадниками смердяковщины... Но революция не есть смердяковщина, и смердяковщина не может стать революцией... И когда он [Достоевский. — П. Р.] судил “революцию” и “революционеров”, он судил смердяковщину в революции»<sup>44</sup>. «Итак — если добро есть добро большинства, оно — “чёртовое добро” и о нем не стоит больше толковать. Какое уж “добро”, коли утверждения свои оно начинает с требования тысячи голов!»<sup>45</sup>

Протестуя против подмены исканий живой личности социальной инженерией, муравьиным счастьем без свободы, равенством без братства, Боровой бесстрашно обличал «дивный новый мир», с ужасающей неумолимостью растущий вокруг него. В 1920-е гг. он писал: «Можно ли придумать притом — более отвратительную, более тяжкую форму рабства? К тому же социалистический рай будет жестоко мстить за все преступления против него. На место изгнанных

буржуазных предрассудков он заведет свои. Он будет иметь свою религию, своих фетишей. Он воспитает армии ревностных, нетерпимых, слепых, развращенных демагогией, фанатически настроенных служителей. Он обратит социалистич[ескую] веру — в орудие самого тяжкого угнетения, самой подозрительной и малодушной мстительной власти. Он убьет человека и будет защищать “общественное животное”. Свободные устремления первого подменит “отправлениями” второго<sup>46</sup>. Защищая вольный социализм, он размышлял о С.Г. Нечаеве (прототипе Петра Верховенского) — жутковатом предвестнике большевизма, узурпировавшего и исказившего дух революции<sup>47</sup>, и противопоставил искусственности его догм спонтанность народного творчества, его расчетливому утилитаризму — этический максимализм и героизм народников 1870-х гг., его «генеральству» и деспотической опеке — самоорганизацию общества, его безликостью унификации, — бунт личности, отстаивающей свое достоинство. Боровой противопоставил рухнувшим идолам веры во «внешнее» и «объективное»: в неизбежный и окончательный прогресс, всемогущий разум, всесильную науку и идеальный коллектив — опору на личную экзистенцию. «Достоевский возражает и против оппортунистических ссылок на непреодолимое влияние обстоятельств и требует от каждого активной борьбы со средой, отрабатывающей “зло” или терпимой к нему. Его замечания против ссылок на “объективный фактор” звучат вполне в духе нашей современности»<sup>48</sup>.

Искания человека вечны. Он не сводим к набору социальных ролей и функций. Смысл жизни не сводится к сытым радостям мещанина. В эпоху казенного «оптимизма» Боровой, вслед за Достоевским, проповедовал «героический пессимизм»: «Человек впервые до конца становится проблемой в обществе, разрешившем технические детали своего существования. С прекращением “классовой войны”, с особенной рельефностью выступает биологическая природа человека и психофизическая индивидуальность, человек “сам по себе” станет центральной темой, ибо ничто не будет служить ему помехой. Сейчас есть человек в кавычках (определение только через социальное), только тогда встанет перед исследователем человек без кавычек»<sup>49</sup>. «Человек без кавычек» — это экзистенция в чистом виде. Она первична, иррациональна, спонтанна, неделима и... загадочна. Там, где человеческая «единица» была признана количественно ничтожной и не заслуживающей внимания перед лицом бесконечных величин, Боровой подчеркивал ее незаменимость и уникальность. И эта качественная определенность личности не есть просто мертвые догмы и роли, не есть даже отдельные «мысли», но — противоречия, муки, живой, не укладываемый в рамки и не объективируемый Дух. А потому «именно там, где хрустальные дворцы будут тешить изголодавшиеся взоры, где жизнь будет регламентирована по умнейшим человеческим

рецептам, именно там-то и заговорят стихии трагизма с невероятной, необычной для нас силой... С устранением проблем, собственно устроительных (техно-экономических, социально-политических и пр.) там встанут и уже с неотложной срочностью – ибо нет и не может быть никаких дальнейших отводов – проблемы труднейшие, проблемы духа»<sup>50</sup>. Подлинно человеческие проблемы (смерть, смысл жизни, любовь) – вечны. А потому противоречивость мира Достоевского не есть нечто преходящее – это противоречивость самой жизни, самой души человеческой.

Самое главное в человеке ускользает от определения, не из чего не выводится – по-сартровски утверждал Боровой. И, вслед за Достоевским, он «устраняет оправдания – рождением, средой, игрой стихий. Личность, ее воля, свобода, сознательность в выборе средств – решающие факторы действия. Никто не может сбросить с себя личную ответственность»<sup>51</sup>. Об этом предупреждал писатель: «Его “подпольный человек” есть – неотразимая, убийственная критика просветительского рационализма, додумавшегося до “механизма” и “каузальности” и вместе “младенчески”, “чисто”, “невинно” верившего в то, что человек делает зло только потому, что “не знает настоящих своих интересов”»<sup>52</sup>.

Боровой с невероятной смелостью писал: «Это – коммунизм, по слову Герцена, “русское самодержавие навыворот”, коммунизм-аракчеевщина, задуманный сверху, проводимый догматически, наивно верящий, что гармония и счастье целого могут быть достигнуты выхолащиванием своеобразия в человеческом, мечтающий о едином, рациональном и стандартном бытии, с предопределением идей, эмоций, устремлений, нетерпимый к самостоятельным исканиям... Коммунизм-пародия, вырастающий не из воли и победы угнетенных, а из мозга доктринера, приносящий реальное в жертву химерам. Человек – мясо, навоз, бескачественная единица, допускающая над собой любые манипуляции. В свете такой догмы формула – “чем хуже, тем лучше”, естественно, получает точное оправдание; в понятие “исторической необходимости” влагается произвольный внеисторический смысл; догматически-декретированная действительность становится разумной»<sup>53</sup>.

О чем эти горькие слова, написанные в начале 1930-х гг.? Неужели только о «шигалёвщине»?..

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Боровой А.А. Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 4.

<sup>2</sup> Там же. Л. 66.

<sup>3</sup> Там же. Л. 118.

<sup>4</sup> Боровой А.А. Дневник. 12 апреля 1928 – 22 января 1932. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 173. Л. 80 – 80 об.

<sup>5</sup> «О полифоническом характере романов Достоевского сравнительно недавно написано интересное исследование» (Бахтин М.М. Проблемы творчества Досто-

евского. – Л., 1929. Цит по: *Боровой А.А.* Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 81 – 81 об.). О полифонии Достоевского см. также: там же. Л. 4 – 5, 27, 39, 168 – 169, 173.

<sup>6</sup> Там же. Л. 81 об.

<sup>7</sup> Там же. Л. 68.

<sup>8</sup> Там же. Л. 81 об. – 82.

<sup>9</sup> Там же. Л. 13 об.

<sup>10</sup> Там же. Л. 175, 116.

<sup>11</sup> Там же. Л. 117, 118.

<sup>12</sup> Там же. Л. 27, 28.

<sup>13</sup> Там же. Л. 67.

<sup>14</sup> Там же. Л. 8.

<sup>15</sup> *Боровой А.А.* Дневник. 12 апреля 1928 – 22 января 1932. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 173. Л. 143 – 144 об.

<sup>16</sup> Там же. Л. 8 об. А в дневнике 2 сентября 1932 г. Боровой записал: «Достоевский должен был все испытать до дна, чтобы на дне найти страдание и правду» (*Боровой А.А.* Дневник. 30 января 1932 – 21 февраля 1933. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 174. Л. 41).

<sup>17</sup> В книгах Достоевского Боровой находит и паскалевскую «бездну бесконечности» и ницшевский ужас «вечного возвращения» без цели: «Человеческий мозг, логика, диалектика – бессильны против сильнейшей диалектики “бездны”, опрокидывающей любую телеологию. Жалкие судороги букашки» (*Боровой А.А.* Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 12 об. О карамазовском бунте против абсурда жизни и ужаса смерти, не способном удовлетвориться социальным совершенством, он писал: «Но что – эти жалкие попытки объяснить бессмыслие и неутолимость человеческих страданий – перед основной, неотразимой мыслью о бессмыслии самого нашего существования, о навязанности, обреченности его. Мы люди – лишь миг вселенского бытия; наша воля, наши цели гибнут без остатка в непознаваемом нами мировом круговороте» (там же. Л. 12). Но, как и Камю, Боровой приходил к приятию жизни.

<sup>18</sup> Там же. Л. 8 об.

<sup>19</sup> Там же. Л. 12 об.

<sup>20</sup> Там же. Л. 74 об.

<sup>21</sup> Там же. Л. 4.

<sup>22</sup> Там же. Л. 10.

<sup>23</sup> Например, см. там же. Л. 61 об.

<sup>24</sup> Там же. Л. 15.

<sup>25</sup> Там же. Л. 122.

<sup>26</sup> Там же. Л. 112 об.

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> Там же. Л. 116.

<sup>29</sup> Там же. Л. 120.

<sup>30</sup> Там же. Л. 116 об.

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> Там же. Л. 121.

<sup>33</sup> Там же. Л. 9.

<sup>34</sup> Там же. Л. 6 – 7.

<sup>35</sup> Там же. Л. 7.

<sup>36</sup> Там же. Л. 66 об.

<sup>37</sup> Там же. Л. 165.

<sup>38</sup> Там же. Л. 179.

<sup>39</sup> Подробную критику Боровым «теории прогресса» см. там же. Л. 161 – 174.

<sup>40</sup> Там же. Л. 29 об.

<sup>41</sup> Там же. Л. 163, 164.

<sup>42</sup> «Диалектика Достоевского, опрокидывая все привычные святыни, подвергая сомнению все каноны, несла тем самым принципиальное оправдание “революции”, давала ей единственно возможное [оправдание – зачеркнуто] объяснение. Она онтологически несовместима с консервативным мировоззрением»

(там же. Л. 91). «И на вопрос – с кем был и был бы Достоевский – с революцией или реакцией? с полным убеждением мы отвечаем: только с революцией!» (там же. Л. 97).

<sup>43</sup> Там же. Л. 150. По верному замечанию Борового, Достоевский довольно слабо знал революционную среду, «слишком брал на веру накипь революции и за хлестаковщиной ее не видел революции истинной, умевшей сочетать непримиримую классовую борьбу с такими высокими этическими требованиями, которые могли бы удовлетворить самую строгую ригористическую совесть» (там же. Л. 151). Отсюда вывод «о неполноте характеристики социализма Достоевским даже в тех пределах, которые были доступны его наблюдению» (там же. Л. 158 об).

<sup>44</sup> Там же. Л. 85.

<sup>45</sup> Там же. Л. 89.

<sup>46</sup> Боровой А.А. Разговоры о живом и мертвом. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 108. Л. 81 – 81 об.

<sup>47</sup> В эти годы партийные историки вели широкую кампанию в защиту Нечаева. Боровой осудил попытки представить «полезным борцом революции» «авантюриста, маниака, человека с иезуитской моралью и нечистой практикой, отвергаемого даже собственной средой» и одновременно «беспорного предшественника идеологии, выявившей себя в социальной революции 1917 г.». «"Реабилитация" же Нечаева, можно сказать, началась только в наши дни» (Боровой А.А. Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 147 – 151). Приведя примеры осуждения «нечаевщины» революционерами 1870-х, он добавлял: «Лично от Н.А. Чарушина (Вятка 1930 г.) я слышал о резко отрицательном отношении к Нечаеву чайковцев» (там же. Л. 147 об).

<sup>48</sup> Там же. Л. 62 об.

<sup>49</sup> Там же. Л. 57 об.

<sup>50</sup> Там же. Л. 9.

<sup>51</sup> Там же. Л. 57 об.; Л. 174.

<sup>52</sup> Там же. 127 об.

<sup>53</sup> Там же. Л.146 – 146 об.

#### REFERENCES

Borovoy A.A. Bakunin in "The Possessed". *Borovoy A.A., Otverzheny N. The Myth about Bakunin*. Moscow, 1925, pp. 71-148 (in Russian).

Borovoy A.A. Journal. *Russian State Archive of Literature and Art*. Fund 1023, opus 1 (in Russian).

Borovoy A.A. Dostoevsky. Book. The latter variant. *Russian State Archive of Literature and Art*. Fund 1023, opus 1 (in Russian).

Borovoy A.A. My life. Memories. Fund 1023, opus 1 (in Russian).

Borovoy A.A. [On Anarchism]. Materials to articles. Notes, statements. *Russian State Archive of Literature and Art*. Fund 1023, opus 1 (in Russian).

Borovoy A.A. Talks about the Dead and Living. *Russian State Archive of Literature and Art*. Fund 1023, opus 1 (in Russian).

Borovoy A.A. Articles related to the time of World War I in "Morning of Russia". *Russian State Archive of Literature and Art*. Fund 1023, opus 1 (in Russian).

Kropotkin P.A. Ideals and reality in Russian literature. *Kropotkin P.A. Anarchy, its philosophy, its ideal*. Moscow, 1999 (in Russian).

Mikhaylovsky N.K. *Literary criticism and memories*. Moscow, 1995 (in Russian).

Otverzheny N. *Stirner and Dostoevsky*. The Preface of A.A. Borovoy. Moscow, 1925 (in Russian).

Riabov P.V. Romantic anarchism of Alexey Borovoy (from the history of Russian philosophy of life). *Istoriko-filosofskii ezhegodnik 2011* [Historical and Philosophical Yearbook 2011]. Moscow, 2013, pp. 416-435 (in Russian).

Riabov P.V. F.M. Dostoevsky's Philosophy in the interpretation by A.A. Borovoy (on archival materials). *Journal of Oryol State University*. Series: New humanitarian research. 2012. No 4 (24), pp. 200-202 (in Russian).

*The debate about Bakunin and Dostoevsky*. Articles of L.P. Grossman and Viacheslav Polonsky. Leningrad, 1926 (in Russian).

Goodwin J. *Confronting Dostoevsky's Demons. Anarchism and the Specter of Bacunin in Twentieth-Century Russia*. New York, 2010.

**Аннотация**

«Достоевский» Алексея Борового (1875 – 1935) – неизвестная науке книга по истории русской философии. Философия Достоевского оказала влияние на формирование анархизма Борового. Он соединил идеи Достоевского с романтизмом и бергсонизмом. В статье использованы неопубликованные мемуары, дневники и статьи Борового.

**Ключевые слова:** Алексей Боровой, Ф.М. Достоевский, анархизм, мемуары, философия жизни, иррационализм, свобода, личность, персонализм.

**Summary**

“Dostoevsky” of Alexey Borovoy (1875 – 1935) is a book about the history of Russian philosophy unknown in science. Philosophy of Dostoevsky had influence on the forming of the anarchism of Borovoy. He connected ideas of Dostoevsky with romanticism and bergsonism. In this article are used unpublished memoires, diaries and articles of Borovoy.

**Keywords**

Alexey Borovoy, F.M. Dostoevsky, anarchism, memoirs, philosophy of life, irrationalism, liberty, personality, personalism.